

4-461

ПЕРЕВКОВ

32 79/8

СНОВА В СТРОЮ



Московский большевик

1945

Цена 1 руб. 60 коп.

V.N. Karazin Kharkiv National University



00825805

8

1/8(c)/2

2) манат-иша

инга омер. котики.

3) 32B9

461св

Вл. ЧЕРЕВКОВ

СНОВА В СТРОЮ

Центральна Наукова
Бібліотека при ХДУ
Інв. № 3279/2

ПРОВЕРЕНО
ФІБ 1946

МОСКОВСКИЙ БОЛЬШЕВИК
1945

Отв. редактор Е. Донцова.
Техн. редактор Г. Белинский.
Оформление худ. А. Лаврова.

Л131717 Сдано в набор 5/VII 1945 г.
Подписано к печати 5/XI 1945 г.
Тираж 10.000 экз. Объем 2 п. л.
В 1 п. л. 49.500 зн. Уч.-изд. 2,5 л.
Формат бум. 70×90¹/₃₂. Зак. № 231.

Филиал тип. изд-ва
«Московский большевик»,
Москва, Петровка, 17.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большевистская партия, советское правительство и весь наш народ воспитали великую и сильную Красную Армию, которая в тяжёлых боях отстояла честь и независимость нашей родины и спасла весь мир от гитлеровской чумы.

Ни здоровья, ни жизни не жалели воины для защиты своей Родины, за что и любит народ свою армию и постоянно заботится о ней. Среди больших задач, стоящих сейчас перед Советским государством, одной из первых является забота об инвалидах Отечественной войны.

Большую работу проделали за годы войны партийные, профсоюзные, советские и хозяйственные организации по оказанию помощи инвалидам войны. Достаточно сказать, что по государственному бюджету на 1945 год ассигновано на социальное обеспечение 2 213 642 тыс. руб. (без союзного бюджета).

Но основным и главным является необходимость помочь инвалиду Отечественной войны вернуться к труду, подобрать ему такую работу, которая, отвечая его склонностям и не причиняя вреда здоровью, обеспечивала бы ему средний жизненный уровень. С этой задачей наше государство успешно справляется. 81 процент инвалидов войны работают в разных отраслях народного хозяйства.

В брошюре В. Черевкова на живых примерах показано, какой заботой окружены у нас инвалиды Великой Отечественной войны; вместе с тем здесь рассказывается о том, как инвалиды войны находят своё место в трудовой жизни. Эта брошюра вселяет бодрость и веру в свои силы воинов Красной Армии, пострадавших в бою.

В. Аралов,
начальник Управления социального
обеспечения инвалидов войны Нар-
комсобеса РСФСР



1. ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО

ПРО АЛЕКСАНДРА Чибирикаина говорят, что он «увлекается». Это верно. Это его характерная черта, которую, впрочем, не впишешь ни в какую официальную «характеристику», а тем более — в анкету. Во всяком деле, за которое берётся Чибирикаин, он прежде всего ищет самого основного — «изюминку». А найдя, делает это дело с подлинным, искренним увлечением.

Таков же его отец — бывший крестьянин деревни Шанчеровка, Московской губернии, потом — дворник в Москве, управдом и теперь председатель месткома. Таков же и дед — бригадир-полевод, член правления колхоза, известный далеко за пределами Чапаевского района плотник, кладчик печей, мостовщик, это он мостил рабочие дворы «АМО» и «Динамо».

Такова же и сестра Аня — талантливый технолог на военном заводе.

Однако «увлечения» Александра Чибирикаина всегда переходят в крепкую любовь.

Это было в отношении спорта, которому Чибирикин отдался самозабвенно со школьной скамьи и который прошёл через всю его молодость. Чибирикин — победитель на многих, сначала гражданских, а потом военных спартакиадах и олимпиадах по бегу на короткие дистанции, по конькам, футболу, волейболу, хоккею.

Так было и с дружбой, которую, если она уж возникла, Александр Чибирикин пронесёт через все испытания, умея ценить в друге основное и прощать ему мелкие недостатки, без которых нет людей на свете.

Дружба сыграла решающую роль в недавнем событии его жизни. Произошло это под Брянском.

Часть получила приказ наступать. На рассвете двенадцатого августа 1942 года пехота, поддерживаемая артиллерией, авиацией и танками, пошла в атаку. Неожиданный удар был хорошо организован. Первые два ряда траншей противника наши пехотинцы взяли с ходу. Но враг несколько оправился и, закопавшись в оборону, стал оказывать жестокое сопротивление.

В ходе развернувшихся действий командиру отдельной танковой бригады донесли, что связь с 1-м танковым взводом прекратилась. Полковник вызвал к себе командира взвода команды управления — Чибирикаина и приказал послать танк выяснить, в чём дело.

— Разрешите обратиться с просьбой, товарищ полковник! — сказал Чибаикин.

— Да.

— Разрешите съездить мне самому?

— Это зачем же? — поднял брови полковник. — Вы мне нужны здесь.

— Командир первого взвода старший лейтенант Белов — мой друг, товарищ полковник. Тревожусь о его судьбе.

Полковник, человек замкнутый, редко проявляющий свои чувства, посмотрел внимательно на Чибаикина.

— Хвалю. Поезжайте.

Чибаикин взял лёгкий танк «Т-60» и на полном ходу пошёл на поиски.

Место боевых действий скрывала возвышенность. Поднявшись на неё, Чибаикин в смотровую щель увидел картину, от которой он весь похолодел.

Три наших танка горели у подножья горы. Густые клубы дыма обволакивали их, медленно поднимаясь в безветренном воздухе.

Бой происходил в четырёхстах-пятистах метрах, у деревни. Как только танк Чибаикина показался на возвышенности, недалеко от него разорвался снаряд. Несколько пуль чвкнули в броню рядом со смотровой щелью. Очевидно для наблюдения за горящими танками немцы выделили орудие и снайпера. Чибаикин приказал механику-водителю уйти за гребень возвышенности, сам же, выскочив наружу, быстро, прячась в кустарнике, пополз к танкам.

Немцы его не замечали. Временами он останавливался и пристально вглядывался в горящие машины: беловские это или нет? Его

удивляло, что на таком расстоянии не видно пламени и что дым вырывается откуда-то из-под самых гусениц.

Наконец он догадался, и лёгкая усмешка тронула его стиснутые губы. Молодчага командир! Выбросил дымовые шашки. С одной стороны, танки будто горят, и нечего тратить на них снаряды. С другой, если немцы вздумают всё-таки стрелять, дымовая завеса лишит их точности прицела. Значит, танки только подбиты, и экипажи, вероятно, целы.

«Похоже на Белова», — подумал Чибирикин.

Лёгкий порыв ветерка смёл слой дыма, и Чибирикин ясно увидел «54» — номер беловского танка.

Чибирикин вскочил и, забыв об опасности, побежал вниз, к танку, прижав по-спортсменски локти к бокам.

В тот же момент что-то сорвало с его головы танковый шлем и вслед за тем сильный жгучий удар в грудь опрокинул его на землю.

«Проклятый снайпер!» — подумал Чибирикин и, не чувствуя от возбуждения боли, упрямо пополз вперёд. Добравшись до танка 54, он поднялся в дыму и постучал в башню. Ответа не было. Он забарабанил кулаком правой руки (левая не действовала). Тогда открылся люк и медленно стала показываться голова Белова в шлеме.

— Ты? — радостно, с усилием произнёс он. — А я думал... немцы.

— Какие тут могут быть немцы, — говорил Чибирикин. — Гоним их почём зря. Вылезай, Колька!

— Нога перебита, Саша...

Обеспокоенный долгим отсутствием командира, механик-водитель чибирикинского танка снова перевалил через гребень и с бешеной скоростью понёсся вниз. Кругом рвались немецкие снаряды. Взрыв следовал за взрывом.

Въехав в дым, танк остановился, и водитель выскочил из него. Вместе с Чибирикиным они помогли вылезть Белову и уложили его на крыло пришедшей машины.

— Крепись, Коля, дружище! — сказал Чибирикин. — А где остальные?

— Башенный стрелок убит... Радист и механик-водитель ушли вперёд с пехотой.

— А в тех? — кивнул головой Чибирикин в направлении двух танков, окутанных дымом.

— Тоже поуходили... Сам видел.

— Всё-таки надо проверить. А вдруг раненые остались, — морщась от боли, сказал Чибирикин. Он почувствовал колющую боль в груди и в плече.

— Пойди-ка, посмотри, — послал он своего водителя и прислонился здоровым плечом к машине.

Механик побежал к танкам. Чибирикин ощутил сильную слабость во всём теле. Скользя плечом по танковой броне, он стал толчками опускаться на землю. Продолжали рваться снаряды. Грохот, вспышки пламени, свист проносящихся осколков — всё сливалось в какую-то дику фантазмагорию.

Прибежал запыхавшийся механик-водитель.

— Никого. Э, да вы тоже ранены! — с тревогой вскрикнул он, бросаясь к командиру...

Это было последнее, что услышал Чибирикин. Его органы чувств стали снова воспринимать мир уже в медсанбате.

Кто-то над самым ухом произнёс:

— Чуть пониже лопатки и чуть повыше сердца. Удачно.

Чибирикин открыл глаза.

— Доктор! — сказал он, как ему показалось, твёрдым голосом, а на самом деле едва внятным шопотом. — Прошу вас отправить санитаров с моим донесением к командиру танковой бригады.

— Голубчик! — устало сказал врач, слегка касаясь пальцами марлевой горки на груди и плече раненого. — Какое там донесение, Вы уже своё относили.

— Я прошу и настаиваю, доктор, — строго сказал Чибирикин. — Я получил боевое задание и обязан доложить о его выполнении.

— А если бы вас убило? — спросил врач, но, вздохнув, подошёл к столу, взял лист бумаги.

— Что писать?

Чибирикин срывающимся голосом коротко и точно продиктовал донесение.

— Хорошо. Отправлю, — сказал врач, засовывая в карман исписанный листок.

Много дней спустя, обнаружив у себя этот листок, врач долго вчитывался в него, стараясь вспомнить, что это значит...

Чибирикина разлучили с Беловым. Чибирикин попал в Актюбинск, где пролежал год. Когда он вышел из госпиталя, левая рука его висела безжизненно вдоль туловища, как плеть. В марте 1943 года он приехал в родную Москву, где учился, вырос и откуда пошёл в ар-

мию, сначала по призыву на службу, потом на фронт.

Ещё в 1940 году, после финской кампании, в которой он был легко ранен в ногу, Александр Чибирикин поступил на завод «Оргаметалл» токарем седьмого разряда. Квалификацию эту он получил после окончания семилетки и ФЗУ на заводах № 1 и «Метрон».

Прошло несколько недель после появления Чибирикина на «Оргаметалле», и о новом молодом рабочем заговорили в цехе, а через несколько месяцев и по всему заводу.

Стахановец! Мы привыкли к этому слову в трудовом лексиконе нашей страны... В нашей жизни оно стало повседневным. Но отзвуки его слышны далеко за пределами нашего отечества, и там оно ново и не совсем понятно. В этом слове сосредоточена напряжённая воля советского человека к непрерывному совершенствованию освобождённого труда народа социалистической страны.

На станке Чибирикина появился флажок. Чисто убранный станок выглядел даже щеголевато. Инструменты, предназначенные для обработки деталей, лежали в том порядке, какой требуется процессом работы. Товарищи приходили смотреть на рабочее место Чибирикина. Их притягивали точность и целесообразность расположения материала — за ними угадываются такие же точные и целесообразные движения рабочего. Чибирикин обстоятельно объяснял, как он добился выполнения четырёхсот процентов нормы. Старики слушали молча и, побеждая в себе чувство ложного стыда перед молодым рабочим, расспрашивали его, как бы

выражая сомнение, о различных технических подробностях. Александр, щадя их большой жизненный и рабочий опыт, старался как можно деликатнее объяснять.

— По-моему, — мягко говорил он, — надо работать не с натугой, а с умом...

В мае 1941 года Чибирикаина вызвали в заводком. Его приветствовал открытой улыбкой хорошо сложенный, светловолосый парень. Спортменским глазом Александр определил: чемпион заводского масштаба по лёгкой атлетике. Парень представился: стахановец с завода «Фрезер», кроме того, бегун.

— Вызываю вас на благородный поединок, как лучшего стахановца «Оргаметалла», — торжественно заявил он.

— Можно и как бегуна, — с горделивой небрежностью вставил предзавкома. — Тоже в грязь не ударит.

Дней через десять приехал на завод корреспондент «Комсомольской правды» ознакомиться с ходом соревнования. Внимательно оглядел рабочее место Чибирикаина, сказал: «Уютненько». Просмотрел производственные показатели и с чувством пожал руку стахановцу. Александр застенчиво улыбался, не зная, что сказать.

А потом в его жизнь, полную творческих радостей и вдохновенного труда, вошло 22 июня.

Теперь, возвратившись в Москву из Актюбинского госпиталя и разрешив себе две недели, ни о чём не думая, побыть в семье, Александр Чибирикин пошёл на старое производство.

Здесь война многое изменила. Основная производственная часть находилась в эвакуации.

Никого из прежних товарищей-рабочих Чибирикин не застал. Одни погибли на фронте, другие воюют, а третьи трудятся для фронта в глубоком тылу. Но из администрации кое-кто остался на месте. Ему очень обрадовались. Пошли воспоминания...

— Помните?.. А помните?.. — говорили они друг другу. Потом незаметно перешли на «ты».

— Как кстати ты появился на заводе! Как замечательно кстати! — говорил начальник цеха. — У нас теперь всё молодёжь. Учить надо. А учить некому.

И Чибирикин стал учить. Ему дали бригаду ребят-токарей, из которых самому старшему было восемнадцать лет, а младшему четырнадцать.

Вдумчиво, терпеливо и настойчиво взялся Чибирикин за обучение. Прежде всего он стал укреплять дисциплину.

— Без дисциплины и организованности ни в каком деле шагу не ступишь, — говорил он. — Давайте условимся, что если мы не фронт, то во всяком случае — сражающийся тыл, так сказать, продолжение фронта. Если каждый из нас это будет ясно сознавать, то безусловно подтянется.

Он собирал свою бригаду за пятнадцать-двадцать минут до начала работы, объяснял задание, знакомил с чертежами, учил на примерах, какой должна быть скорость резания, как нужно заготовить и заточить резцы. Внушал любовь к станку.

После его бесед станки казались ребятам живыми, хитрыми и умными существами. Их надо кормить маслом, поить водой, оберегать от грязи, от всепроникающей металлической пыли.

И надо быть умнее их, чтобы безошибочно управлять этим сложным организмом, чтобы с закрытыми глазами видеть — вот как держишь перед собой на ладони — каждую их деталь. Тогда от станка можно брать всё, что он может дать.

Угадывая настроение своих учеников, Чибирикин рассказывал им о том чувстве робости, которое он сам испытал при первом знакомстве с машиной на производстве. О том состоянии беспомощной растерянности, когда она, эта загадочная машина, по неизвестной для него причине внезапно ломала ритм своих размеренных точных движений.

— Конечно, ребята, — говорил Чибирикин, поглаживая крутой бок станка, — машины у нас замечательные, точные. Но чтобы они работали, как требуется, надо и самим быть точными. Станок любит точность, внимание. А я вот сегодня видел — кой у кого резец играет. Это нехорошо. Игры в станке не должно быть.

— Это у кого же, Александр Гаврилович? — встревоженно спросил комсорг.

— Потерпи до завтра, — улыбнулся Чибирикин. — Он сам знает. Если завтра повторится, скажу.

Так проходили занятия и работа. В результате через три месяца Витя Егоров стал выполнять больше двухсот процентов задания.

— Учителя перегнал, — восхищённо сказал Чибирикин. — Я ведь едва до двухсот дотягиваю.

— Вам теперь трудно, — почти благоговейно ответил Витя, мельком взглядывая на висевшую руку Чибирикина. — Я знаю, вы и пятьсот выполнили бы.

Валя Еремеева добилась ста восемнадцати процентов, Юра Юдин и Боря Козлов стали давать двести.

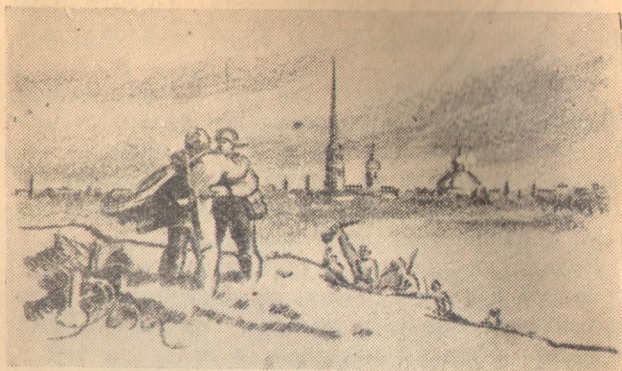
Пятнадцать молодых рабочих сдал заводу Чибирикин квалифицированными токарями четвёртого и пятого разрядов. Это — пионеры нового производства на заводе. На них лежат основные токарные работы, они обрабатывают детали средней и большой сложности.

Вкус к дисциплине и организованности, принесённый с фронта, Александр Чибирикин привил и всему цеху, в котором он скоро был назначен старшим мастером, а вслед за тем и начальником смены. Ему было присвоено звание почётного мастера завода.

Живой, общительный темперамент стахановца вызвал доверие и любовь рабочих. Чибирикина единодушно избрали председателем цехового комитета.

С прежним увлечением, как и в былые времена, инвалид II группы Александр Гаврилович Чибирикин работает на заводе.





2. МОСКВИЧ-ЛЕНИНГРАДЕЦ

ВЫ, КАЖЕТСЯ, москвич, товарищ Афанасьев?

Он улыбнулся.

— Родился в Москве, коренной москвич. Люблю Москву. Но в то же время считаю себя и ленинградцем...

— То-есть?

— С Ленинградом меня связали самые высокие чувства, какие я когда-либо испытывал в своей жизни. Кровь моя пролита за Ленинград. Поэтому я считаю себя и ленинградцем...

В ночь с одиннадцатого на двенадцатое января 1943 года помкомвзвода отдельного батальона морской пехоты Михаил Иванович Афанасьев слушал в строю приказ о наступлении. Поглядывая на стройные ряды товарищей в морских бушлатах, он чувствовал, как ширс-

ко и властно охватывает его волнение, новое, ещё не испытанное в жизни.

Это чувство было обще всем, кто вот уже пятьсот дней своей волей и мужеством удерживал хищного врага на подступах к великому городу Ленина и кто в этот час слушал долгожданный сталинский приказ о наступлении. Слушали этот приказ и на правом берегу скованной морозом Невы, и под Шлиссельбургом, и на льду Ладожского озера, и у древнего Волхова. Ленинградцы и волховцы должны двинуться навстречу друг другу сквозь густые ряды наземных и подземных войск противника, разорвать стальную вражескую петлю, освободить от блокады неприступную твердыню, гордость и славу Родины—Ленинград. Так должно быть, и так будет.

Афанасьев твёрдо решил не спать до сигнала к атаке, который, как он предполагал, будет дан на рассвете. Проверив снаряжение у бойцов, помкомвзвода вернулся в блиндаж. К нему подсел его неразлучный друг снайпер Паша Сибиряк. Он тихим голосом, не спеша, рассказывал, как у них в лесах таёжной Сибири, на золотых приисках с детства воспитывают сверхметких стрелков.

— Отец, бывало, даст на охоту десять патронов, и если принесёшь девять белок, очень крепко попадёт: отец не поверит, что промахнулся, — значит, продал десятый патрон.

Афанасьев слушал и думал, что вот Сибиряк старается отвлечь и себя и его от мыслей о предстоящей атаке. Он спокоен, он не спеша рассказывает, хотя и знает, какие трудности ожидают их завтра.

Пробежать восемьсот метров по льду Невы, по открытому месту под дождём огня. С налёта взять крутой, обрывистый берег, облитый водой, заледеневший, заминированный, покрытый сетью колючей проволоки. Выбить врага из трёх рядов обжитых траншей, блиндажей, дотов, дзотов...

— И белку нужно принести с цельной шкуркой. Стрелять её нужно в глаз...

Афанасьев прислонился плечом к холодной сырой стене и думал, думал. Может быть, это их последняя ночь. Думал о жене, о детях, отгонял эти мысли, но близкие люди, совсем живые, улыбающиеся, вставали перед его глазами: и сестра Любаша — лётчица, Настасьюшка — депутат райсовета, начальник цеха, Надь — офицер, старший лейтенант, где-то сражается на фронте. Внимательное, строгое лицо брата Алексея — партизана, таинственно появляющегося и так же таинственно исчезающего надолго...

Лица расплываются. Афанасьев сползает плечом по стене и мягко опускается на землю.

Сибиряк замолчал и подложил ему под голову вещевой мешок.

— Заснул...

Помкомвзвода проснулся первым и, посветив фонариком, посмотрел на часы. Шесть двадцать!

— Проспали! — с досадой сказал Афанасьев. — Сейчас начнётся.

Однако не началось ни сейчас, ни через три часа. Было ясное морозное утро. Кругом стояла полная тишина. Окопная жизнь текла своим чередом.

— Значит, отменили, — решил Афанасьев, свёртывая цыгарку. — Можно ещё поспать, а то прошлую ночь...

Но он не успел закончить фразы. Неистовый грохот потряс воздух. Ровно в девять тридцать ударила наша артиллерия.

Били орудия всех калибров, со всех направлений. Били с Невы, с Волхова, с Ладожского озера, били из-под Шлиссельбурга, с острова Сухо, с узкой полоски на левом, немецком берегу, героически отбитой балтийцами. Волны горячего воздуха опахивали людей. Похоже было, что разыгрались стихии, что это они столкнулись в слепом и яростном гневе, и человеку здесь уже нет места. Загремел воздух от наших бомбардировщиков. Неотвратимой грозой налетали они на передний край немцев, обрушивая на врагов ураган огня, вздыбливая блиндажи, металл, цемент, дерево, и стремительно уносились обратно за новым смертельным грузом.

Два часа двадцать минут, не утихая ни на секунду, бушевал этот ураган раскалённого металла над зарывшимся в землю, испуганным врагом. Первокласные укрепления немцев переставали существовать. Сразу же оборвалась связь немецкого командования с частями, нарушилось управление огнём. Наша артиллерия опустила огненный щит между передним краем и глубиной немецкой обороны, не позволив вовремя подоспеть резервам.

Очнувшись от первого залпа, Афанасьев бросил цыгарку, сунул кисет в карман и схватился за автомат. Все до одного человека уже стояли в окопах, стискивая в руках оружие. Напряжённый трепет пробежал по телам. Афа-

насьев так же нетерпеливо сжимал автомат, перебирая пальцами в рукавицах.

И когда напряжение достигло своего предела, прозвучал сигнал к атаке.

Людей точно выбросило из окопов. Страх не было, только вдохновенная ярость овладела ими. Скорее вперёд, добежать до проклятого места и уничтожить то, что мешает жить, что сейчас угрожает жизни.

Афанасьев бежал со всеми, и сознание, что вот, наконец, свершилось, заставляло вздрагивать и замирать его сердце. Кругом него — спереди, сзади, по бокам — бежали люди. Люди, наверное, кричали. Он видел открытые рты, но не слышал, что именно кричали, да он и сам кричал. Ему казалось, что это он выкрикивает то заветное, чем жил до сих пор и за что готов сейчас умереть, не раздумывая: «За Сталина!», «За Ленинград!»...

Неву пробежали за десять минут почти без потерь. Тащили с собою на штурм высокого берега лестницы, колья, верёвки, длинные соломенные маты. На руках вкатывали наверх полковые орудия и били прямой наводкой по вражеским траншеям. Огонь переносили дальше, а люди стремительными бросками овладевали немецкими окопами.

Деморализованный огнем смерчем, не ожидавший такого бешеного натиска нашей пехоты, враг поспешно отступал...

Трудно теперь последовательно восстановить в памяти чередовавшиеся большие и малые события этих ни с чем не сравнимых семи дней великой битвы за Ленинград. В памяти Афанасьева они запечатлелись как гремящий сверкающий поток, поднявший его над обыденно-

стью жизни и стремительно несший на себе вперёд и вперёд.

Во время атаки под Дубровкой его ранило пулей в руку. Он попросил Сибиряка потуже перевязать рану и побежал догонять свою цепь. Ему казалось немыслимым отстать от этого вихревого движения вперёд, всё вперёд.

В свирепом бою у села Марьино убило командира взвода. Афанасьев принял командование подразделением и вместе с новым помкомвзвода — Сибиряком повёл бойцов в атаку.

Все семь дней со стороны Волхова шёл смутный, волнующий гул. Точно взламывался лёд на реке. Да, оттуда в январские стылые дни шла весна, шла жизнь. Большая Земля, проламывая смертельное вражеское кольцо, протягивала руку великому городу. Волховцы неужели рвались навстречу ленинградцам. В Рабочем посёлке № 1 они встретились. Это было завершением прорыва и началом изгнания немцев с ленинградской земли.

Афанасьев протянул руку волховцу, хотел сказать: «Здравствуй, брат!», но волнение сковало ему язык. Молча и крепко они поцеловались.

Рабочий посёлок № 8 штурмовали рано утром. Афанасьев, Сибиряк и Козаков бежали метрах в пяти друг от друга.

— Миша! Прошу тебя, пригибайся ниже! — крикнул Сибиряк Афанасьеву.

В это время прямо в глаза им ударил ослепительный блеск, и страшная невидимая сила опрокинула их на землю.

Первым очнулся Сибиряк. Он хотел подняться, но острая боль чуть не лишила его сознания. Левая нога была перебита.

— Миша! — со страхом позвал он, не зная, жив ли друг.

Афанасьев лежал ничком, скорчившись на правую сторону. Он поднял голову, застонал. Его правая нога была неестественно вывернута и вокруг неё расплзлось кровавое пятно. В стороне, уткнувшись плечами в развороченную землю, лежал обезглавленный труп Козакова. Сибиряк на секунду закрыл глаза, потом шопотом стал уговаривать Афанасьева:

— Поползём, Миша, в санчасть.

— Не могу... сил нет... И так подберут нас...

— Истечём кровью, Миша. Надо ползти.

И они поползли, волоча за собою перебитые ноги, поминутно останавливаясь, зарываясь головами в снег, теряя сознание от невыносимой боли.

Сибиряк был крепче Афанасьева. Он полз впереди, предупреждая о неровностях почвы. Едко пахло пороховым дымом и гарью, с визгом проносились мимо пули, с грохотом рвались снаряды.

Они ползли, и казалось, — конца этому не будет. На шестьсот метров ушло три с половиной часа мучений.

От нестерпимой боли, пронизавшей всё тело, Сибиряк потерял сознание. Очнувшись, он с трудом приподнялся на локтях и огляделся. Влево от себя он увидел блиндаж «гнездо раненых».

— Миша, Миша, — звал он, оборачиваясь.

Но Афанасьев молчал. Он лежал без сознания, привалившись головой к валенку своего друга.

В блиндаже им наложили жгуты, перевязали

ли раны. На волокуше перетащили по льду через Неву в медсанбат. Здесь, в землянке, ожидало дальнейшей отправки несколько десятков тяжело раненных.

Сибиряк терял силы. Недавнее нервное напряжение сменилось упадком сил. Он так ослабел от потери крови, что уже не мог говорить и, посеревший, осунувшийся, только смотрел на друга почти невидящим, растерянным взглядом.

У Афанасьева к физическим страданиям прибавился страх за Сибиряка, страх потерять друга. Он вглядывался в изменившееся лицо товарища, губы Сибиряка всё время пересыхали, и Афанасьев, преодолевая собственную боль, поминутно поил его из термоса и прижимался к нему, чтобы хоть немного согреть его. С ужасом он чувствовал, как неотвратимо холодеет тело друга.

Перед рассветом Сибиряк скончался на руках у своего командира.

Прилетел санитарный самолёт. Его быстро загрузили ранеными. В кабине не хватало места, и Афанасьева, укутанного в два меховых конверта, укрепили верёвками на крыле.

В Шлиссельбурге, только что отбитом у немцев, Афанасьеву ампутировали ногу.

После недельного пребывания в Шлиссельбурге Ленинград и городок Сокол под Вологдой прошли через сознание, как во сне. Наконец Афанасьев оказался в глубоком тылу — в Новосибирске.

Вывранный из боевой обстановки, ставшей за время войны его бытом, потерявший самых близких своих товарищей, Афанасьев жил эти

дни какой-то почти не реальной жизнью. Меняющаяся обстановка, новые лица, сильные боли — всё это создавало впечатление неустойчивости, зыбкости непосредственного его окружения, внушало неуверенность в себе и в своём завтрашнем дне.

Афанасьев боялся вдумываться в истинную причину этого своего состояния.

Как отдалённый гул прибоя, в его коечный мирок входила большая жизнь страны. Она являлась в палаты вместе с шефами-рабочими, артистами театра и эстрады, школьной детворой. Она звучала в радиопередачах, светилась на киноэкранах, шуршала бумагой газетных полос. Трудовая доблесть тыла перекликалась с героизмом фронта. Страстная напряжённость моральных и физических сил народа удесятворяла силы воина. Тыл сливался с фронтом в единый грозный поток, движущийся навстречу врагу.

Тревожное беспокойство всё больше охватывало Афанасьева, и он наконец отдал себе в нём отчёт. Стране нужны сейчас активные участники гигантской борьбы. От каждого теперь требуется вдесятеро больше, чем он давал в мирное время.

А чего можно ожидать теперь от него, Афанасьева, бывшего слесаря-лекальщика? Даже на свою прежнюю, обычную норму он теперь уже не способен. Он не сможет простоять у станка свои рабочие часы.

И дальнейшая жизнь представилась Афанасьеву совсем неприглядной, бесцельной...

На свои письма к семье в Москву Афанасьев не получал ответа. Как мучительны эти дни ожидания!

Может быть, письмо не дошло, может быть, случилось что-нибудь дома, а может быть, и не нужен он там никому такой вот?..

Выписавшись из госпиталя, Афанасьев отправился к себе на родину.

Столица встретила его просто и задушевно. Это он почувствовал уже на вокзале в товарищеской готовности, с какой ему помогли сдать багаж в камеру хранения. Когда он, тяжело спираясь на костыли, подошёл к постовому милиционеру, тот ответил ему воинским приветствием, объяснил всё очень подробно и даже проводил немного. А в вагоне метро какая-то молоденькая девушка вскочила с места, усадила его и незаметно поправила съехавший костыль.

И дома Афанасьев на лицах жены и детей прочёл такую неподдельную сияющую радость, что тёплая волна залила всё его тело.

Ольга усадила его в кресло, примостилась рядом, заговорила радостно и бессвязно:

— Как хорошо, Мишенька, как хорошо, что ты вернулся! Заживём теперь!

И смотрела в его глаза и опять говорила.

Оказалось, два письма получили сразу, написали все трое ответ и ждали его каждый день уже целый месяц.

Афанасьев почувствовал себя дома в самом широком смысле этого слова. Вся его страна — это его дом, в который он возвратился после честно выполненного долга.

Ещё два месяца Афанасьев пролежал в госпитале Протезного института. Отсюда он вышел с лёгким удобным протезом. После месячного пребывания в подмосковном санатории он

почувствовал себя здоровым и попросился работать.

Однако после осмотра ему предложили ещё полечиться амбулаторно и отдохнуть дома. В мае 1944 года его наконец направили старшим воспитателем в пионерский лагерь вблизи станции Софрино.

В сентябре он явился в отдел социального обеспечения.

— Вас не узнать, — сказала Вера Юльевна, заведующая отделом, с удовольствием вглядываясь в его загоревшее оживлённое лицо.

Афанасьев смутился.

— Нет, нет, — поспешила успокоить его Вера Юльевна. — Я знаю, что вы не только загорали. О вашей работе в качестве воспитателя у меня самые хорошие отзывы. Не хотите ли закрепить за собою эту профессию?

Но Афанасьев попросился на производство.

— Тогда хотите начальником только что созданного цеха? Будете выполнять особые заказы.

— Справлюсь ли?

— Если бы мы не были уверены, что справитесь, то и не предлагали бы вам этого ответственного дела.

Через несколько дней Афанасьев приступил к работе в новом цехе.

Первый месяц прошёл в организационной горячке, а в октябре уже начали давать продукцию. Изготавливалась деталь вооружения. Афанасьев хорошо знал её назначение.

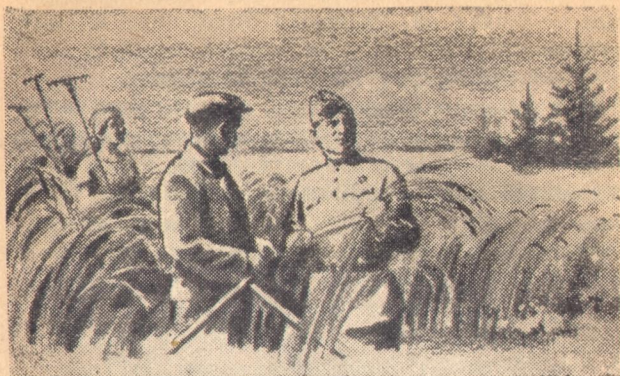
Получив первый десяток этих деталей, он расположил их симметрично на столе и вызвал начальника кадров — старшего сержанта Сорокина, теперь инвалида второй группы.

— Поздравляю, Сергей Сергеевич, с началом, — сказал он, указывая помощнику на продукцию.

— И вас также, Михаил Иванович.

И чувство, похожее на то, которое взволновало его при встрече с волховцем-красноармейцем, толкнуло Афанасьева встать из-за стола и во внезапном порыве обнять и поцеловать Сорокина.





3. СЫН РОДИНЫ



МОЖНО?

В полуоткрытую дверь просунулось улыбающееся лицо, и в комнату вошёл среднего роста человек лет тридцати пяти.

Есть люди, которые, где бы ни появлялись, вносят с собою струю бодрого оживления, расшевеливают общество, в любом коллективе они незаменимы.

К таким людям и принадлежал вошедший. Это было видно из того, как он обошёл столы сотрудниц, добродушно-шутливо поговорив с каждой, как охотно и дружелюбно те отвечали ему.

Он был строен и подвижен, с энергичным, мужественным лицом. Я невольно залюбовался его молодцеватой военной выправкой, какая у

иных остаётся на всю жизнь после пребывания в армии.

— Это ваш помощник? — спросил я Веру Юльевну, заведующую отделом социального обеспечения.

— Да, внештатный, — улыбаясь, ответила она.

Наконец он подошёл к нам и, сделав рукою приветственный жест, прислонил к столу увесистую палку, которую всё время держал подмышкой.

— Кому и для чего понадобилась моя ничтожная особа? — шутливо спросил он, опираясь о стол обеими руками, причём длинные рукава пальто скрыли его пальцы.

— Позвольте представить, — обратилась ко мне Вера Юльевна. — Инвалид Отечественной войны первой группы Хейфец.

Я с удивлением посмотрел на него.

К первой группе относятся наиболее тяжело пострадавшие, с явно выраженными признаками увечья, делающего человека абсолютно нетрудоспособным. Это или слепые, или лишённые двух конечностей, или получившие неизлечимые внутренние повреждения. Обычно они не в состоянии самостоятельно передвигаться и самый внешний вид их говорит о тяжёлом состоянии всего организма.

Перед нами стоял на вид совершенно здоровый и способный к труду человек. Казалось, если он не на фронте, то лишь потому, что выполняет какую-то важную, ответственную работу в тылу.

— Первой группы? — переспросил я.

Хейфец понял моё недоумение и спокойно пояснил:

— Нет обеих ног—хожу на протезах. И пальцев нет на обеих руках.

Он поочередно отвернул рукава пальто и показал кисти рук, лишённые пальцев.

— Кроме того, у него — последствия сильной контузии головы — ослабление памяти и периодические головные боли,—добавила от себя Вера Юльевна. — А также неполадки с сердцем, по временам бывают серьёзные припадки.

— Как же вы... без костылей ходите?

— Костыли нужны для слабых, — шутливо ответил Хейфец. — Я обхожусь без них.

И пояснил:

— Оч-чень хорошие протезы получил, вот Вера Юльевна помогла. Иногда только этой палочкой пользуюсь...

— Трудно вам приходится, — тихо сказал я, поражённый выдержкой этого человека.

Глаза Хейфеца стали серьёзными.

— Да, не очень легко. Но жизнь есть жизнь, и нечего тут хныкать над своими болячками. Надо или жить, как полагается человеку, да ещё советскому, или не жить вовсе...

**
**

Земля коченела в холоде мартовской ночи, и этот холод пронизывал тело. Группа разведчиков, широко разбросавшись по местности, подбиралась к вражеским траншеям. Впереди полз начальник группы младший лейтенант Василий Туров, белокурый гигант, которого очень любили разведчики за молодость, жизнерадостность и тёплое товарищеское отношение.

Каждый был предоставлен самому себе, своей храбрости, находчивости, инициативе. Каждый

был наедине с этой враждебной ночью, с притаившейся где-то рядом смертельной опасностью. Так требовалось условиями поиска, — чтобы труднее было врагу обнаружить смельчаков, упрямо ползущих по открытой, защищённой только ночной темнотой местности.

И в то же время каждый из ползущих знал, что в семидесяти метрах от него так же продвигается вперёд его товарищ, который свято чтит суворовскую заповедь: «Сам погибай, а товарища выручай», и которого не повернёт вспять никакая сила на свете.

Это был, несомненно, самый дерзкий и смелый из ночных поисков, в которых до сих пор младший сержант Израиль Хейфец, прославленный в роте разведчик, принимал участие.

Немец держался настороженно. Весь этот участок — между деревнями Хохлово и Иваново — был пристрелян, и время от времени враг выпускал в ночь длинные очереди трассирующих пуль, красными строчками прошивавших мрак. Взлетали ракеты, и в холодном их сиянии чётко выступала мёртвая, изрытая снарядами равнина в траурной кайме леска. Разведчики замирали, срастались распластанными телами с холодной землёй и мёртво лежали, пока ракета, медленно опускаясь, не проваливалась в темноту. Тогда бесшумно и быстро ползли в одиночку дальше — к леску, уходящему на вражескую территорию.

Лесок был небольшой, но густой. В тот самый момент, когда Хейфец дополз до его опушки, взвилась ракета, и младший сержант застыл в том положении, в каком был застигнут её светом. Но он успел увидеть мысок, где

условлено было всем сойтись, и после ракеты пополз туда.

Туров проверил всех, шопотом отдал последние распоряжения, сжал плечо Израилю. Как только погасла очередная ракета, разведчики ринулись вперёд, точно гигантская пружина вытолкнула их из леска.

Хейфец был в атакующей группе. Вместе с другими он перепрыгнул через проволочную изгородь, через бруствер и спрыгнул в окоп. Он упёрся спиной в стену и его автомат методически застрочил, сея перед собою смятение и смерть.

Дальше память младшего сержанта заволочло туманом, и только вспыхивающими огнями врывались отдельные моменты пережитого. Помнит он жаркое прерывистое дыхание Васи и его изменившийся голос:

— Пора, Израиль!

Потом свежий воздух пахнул в лицо, и снова могучая волна подхватила и понесла его вместе с Васей и пленным немцем, которого они выхватили из смятенной толпы. Вот уже вскочили в лесок, выбрались из него, и в этот момент огненный столб ударил из земли. Страшное сотрясение всего тела... и чёрный провал в сознании.

Разорвавшимся немецким снарядом убило младшего лейтенанта Турова и тяжело ранило Хейфеца. «Язык» тоже был убит.

О гибели белокурого Васи Хейфец узнал от товарищей-разведчиков, пришедших проведать его в медсанбат. От этого известия смертная тоска охватила Хейфеца, и он уже совершенно безучастно выслушал о том, что убило его «языка», но зато другого товарищи благополуч-

но дотащили до наших траншей, и он, Израиль Хейфец, представлен к ордену.

Потом — эвакуация в глубокий тыл. Заботливый уход, который ещё больше подчёркивал тяжёлое состояние Израиля, его беспомощность.. В Уфе ему ампутировали обе ноги выше колен (пальцы на руках были отняты ещё раньше — в медсанбате). И потянулись недели тоскливого лежания на госпитальной койке...

Хейфецу — передовому витебскому рабочему, участнику финской и польской кампаний 1939 года, человеку действия — невыносима была эта вынужденная бесплодная трата времени, которое он привык так ценить. А что его ожидает в дальнейшем? Кто он теперь? Балласт для государства, для общества. «Таких, как я, во время бури в древние времена сбрасывали с судов, как лишний ненужный груз», — думал он в отчаянии.

Оставалась одна надежда — семья, близкие по крови и долгой совместной жизни люди: отец, рабочий того же витебского завода «Знамя индустриализации», мать, жена, трое ребятишек. Конечно, и им он теперь будет в тягость. Но хотя бы узнать, что с ними, увидеть их...

Хейфец списался со своей сестрой-педагогом, живущей в Москве. Она прислала письмо, полное любви, уважения к нему, защитнику Родины, умоляя приехать и жить у неё, сообщила, что о семье пока ещё нет сведений.

После выписки Израиль отправился в Москву. Его тронула заботливость всех, кто был причастен к его сборам, и от кого зависел его переезд. И в то же время ему было горько от

сознания, что он нуждается в заботах, не может без них обойтись. Ему дали сопровождающего до самой Москвы, куда он и прибыл двенадцатого ноября 1943 года.

Когда Израиль внесли в комнату сестры, Ева вскрикнула и упала перед ним на колени. Рядом с её бледным лицом он увидел доброе морщинистое лицо матери. «Как она очутилась здесь?» — мелькнула у него радостная и тревожная мысль, и он потерял сознание.

Очнулся Израиль на постели. Сестра стояла у изголовья и смотрела на него пристальным скорбным взглядом. Мать сидела на краю кровати, дрожащею рукою гладила его лицо, и слезы из её глаз капали ему на грудь.

— Вот, укоротили меня, — проследив взгляд сестры, попробовал, как всегда, пошутить Израиль.

Но шутки не вышло, и он быстро спросил мать, вытянув к ней голову:

— А где же все остальные?

— Все живы, здоровы, не успели ещё выехать из Витебска, — так же быстро ответила мать, и слезы стояли в её голосе.

Только несколько дней спустя Израиль узнал страшную правду. Отец, жена и все трое детей погибли в Витебске, замученные фашистами. Только матери чудом удалось спастись.

Наступили дни невыносимых моральных страданий. Подавленный обрушившимися на него несчастьями, Израиль лишился душевного равновесия. Временами на него нападал какой-то внутренний столбняк, и сестра со страхом вглядывалась в его остановившиеся, ничего не видящие глаза. Его обычно живое, выразительное лицо потеряло свою подвижность. Тогда мать

садилась на край кровати и, плача, разглаживала рукою искажённое лицо.

Он мучительно размышлял над своим положением, мучил себя. И этим он тоже совсем не походил на прежнего Израиля, с презрением относившегося к «бесплодному для общества интеллигентскому самоковырянию» и любившего говорить, что «мысль только тогда заслуживает внимания и уважения, когда она претворяется в действие». Теперь всё опрокинулось.

«На что и кому ты нужен? — устремив воспалённые глаза в потолок, говорил он себе, — Даже шить, даже плести корзины неспособен».

Он думал о себе в прошлом, как о постороннем человеке. Застрельщик, инициатор на производстве. Неутомимый агитатор словом и делом за строительство счастливой, радостной жизни. Но!.. Теперь — только вот этот остаток от него.

И для сестры он, конечно, только обуза. Ну, любит она его. Но ведь у неё самой двое детей и мать на попечении, а муж — на фронте. Сколько можно любить самого близкого человека, если он — бревно, да ещё требующее ежедневного ухода? Год, два?.. А ведь ему много ещё жить, только тридцать четыре года прожило! Так не лучше ли, не справедливее ли прекратить это ничтожное, тягостное и для него и для всех окружающих существование?..

Сестра видела состояние брата. Придя с работы, она, забывая об усталости, пробовала утешать его, вызвать на откровенный разговор. Но он, прежде такой общительный, теперь суровый и замкнутый, молчал, упрямо глядя перед собою невидящими глазами, и только губы его беззвучно шевелились...

Морозным утром, когда Хейфец твёрдо и без всякого сожаления вынес себе смертный приговор и обдумывал способ, как привести его в исполнение, в комнату постучались. Женский голос назвал его имя и фамилию.

Израиль, опираясь сзади руками, приподнялся и сел на кровати.

— Я инспектор социального обеспечения, — сказала вошедшая. — Командирована к вам по заявке вашей сестры...

Для Израиля Хейфеца наступила новая пора его жизни. Если физически он уже достаточно окреп после тяжёлых ранений, то теперь началось и его нравственное выздоровление.

Он почувствовал, что он не одинок. Совсем напротив. Он ощутил неразрывную связь с Родиной, со своим народом, связь, которую он сам пытался нарушить в исступлении отчаяния.

Пока он мучительно решал проблему, как устроить свою жизнь, и пришёл к выводу уйти из жизни, государство уже разрешило эту проблему и для него, и для других, таких же, как он, верных своих сынов, пострадавших за его честь и свободу.

Хейфец выдумал себе одиночество. Родина широко распахнула перед ним двери большой советской родной семьи.

Он тяжело страдал от сознания беспомощности и обременительности своей жизни. А ему уже были приготовлены возможности для разумного, полезного труда. Пока живёт в советском человеке сознание, он может и должен быть полезным гражданином своего великого и прекрасного отечества. И если он только хочет, он никогда не останется в стороне от могучей созидательной работы своего народа.

После посещения инспектора социального обеспечения Израилю прислали дров, принесли костюм, выдали карточку дополнительного усиленного питания и стали доставлять продукты на дом.

Ему сделали удобные протезы, к которым он быстро привык и на которых стал передвигаться без посторонней помощи, куда и когда хотел.

Довольный, сияющий, пришёл он в отдел социального обеспечения, чтобы поблагодарить за все заботы.

— Ещё у меня к вам большая просьба, — сказал он Вере Юльевне в конце беседы. — Приспособьте меня к какому-нибудь труду. Без этого не мыслю своего существования.

— Не торопитесь, — улыбнулась Вера Юльевна. — Сначала съездите вот сюда.

Она протянула ему путёвку в Рогачёвский дом инвалидов и прибавила, продолжая дружески улыбаться:

— Там вас ждут, Израиль Абрамович.

В доме инвалидов Хейфец прожил несколько месяцев. Здесь он поздоровел, окреп. Бсрба его с самим собою, с упадничеством и мрачным состоянием духа закончилась полной победой. В среде боевых товарищей он нашёл опору в этой борьбе и обрёл душевное равновесие и внутреннюю собранность.

Но по-настоящему вернуло Хейфеца к жизни то, что здесь он впервые после долгих месяцев почувствовал себя вновь полезным членом общества.

Всё лето Израиль с жаром проработал на поле. Он был бригадиром, и его коллектив на «отлично» провёл уборочную кампанию. И на

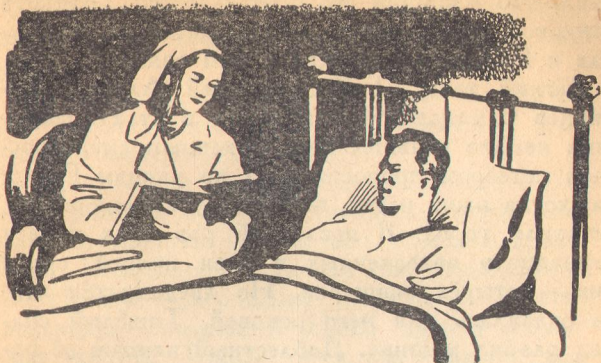
фронте труда, как прежде на фронте войны, Хейфец стал одерживать победы.

Хейфец вернулся в Москву удовлетворённым, нашедшим своё место в жизни. С гордостью показывает он пальто, полученное им уже не как инвалидом, а как отличником производства.

Теперь Хейфец мечтает об участии во все-союзном походе за урожай. А осенью он поступит на агрономические курсы.

В добрый час! Дорога ему открыта. Родина создаст своему защитнику все условия для жизни, общей с интересами его народа.





4. ПАРТИЗАН



Х БЫЛО пять братьев в украинской землеробной семье Козинцевых.

Когда фашистские разбойничьи орды двинулись на нашу страну, четверо из братьев ушли на фронт защищать её, пятый — Александр был председателем колхоза в родном хуторе Гудка, Глуховского района, и на фронт его не отпустили.

Всем памятни грозные месяцы первого года войны. Героически сопротивляясь, изматывая силы противника, отходили наши пограничные заслоны, давая время основным силам Красной Армии подготовиться для могучего контрудара.

Когда бои развернулись в районе хутора Гудка, Александр Козинцев в составе Глуховского партизанского отряда ушёл в леса. Он

знал, что младший его брат Алексей, политрук танковой роты, дерётся с немцами на подступах к Глухову, и держал с ним связь.

Лёгкий танк «Т-26», который Алексей Козинцев одиннадцать раз водил в атаку, совершил немало славных дел. Огненным смертоносным метеором проносился он по улицам Глухова, когда наши части, по приказу командования, оставили город. В последний раз танк привёз семнадцать захваченных в плен немцев, среди них — четырёх офицеров. Но двенадцатая атака оказалась для него роковой. Тяжёлый снаряд разбил машину. Доблестный экипаж её погиб. Множество осколков впились в коренастое, крепкое гело Алексея Козинцева. Он сразу же потерял сознание.

Без всяких признаков жизни политрук лежал на поле боя. Это было спасением, потому что немцы посчитали его мёртвым.

Перед рассветом колхозники подобрали Козинцева вместе с телами погибших его товарищей, чтобы с честью похоронить героев. Это было опасно, так как территория находилась во власти немцев, но колхозники не хотели оставить славных защитников Родины на поругание озверелому врагу.

Когда подняли с земли политрука, он, открыв глаза, спросил:

— Куда несёте?

И снова лишился чувств.

Обрадованные колхозники снесли Алексея Козинцева в хату и тотчас же послали верхового к его брату Александру.

В следующую же ночь Александр приехал из лесу в телеге, нагруженной сеном, и, зарыв в него брата, увёз с собой.

В небольшом партизанском отряде, насчитывавшем всего тридцать человек, оказался свой врач.

Тщательно осмотрев в землянке изрешеченного осколками политрука, врач вышел к ожидавшему снаружи Александру:

— Плохи дела вашего брата. Тридцать два лёгких ранения и восемь тяжёлых. Левый глаз пришлось удалить. Кроме того, большая кровопотеря. Положение, я сказал бы, безнадежное.

— Ничего, — поблещив, твёрдо ответил Александр, — выдюжит. Наша порода Козинцевых живуча. Только уж и вы, товарищ доктор, постарайтесь, он ведь герой у нас.

— Будем надеяться, — сказал врач.

Через несколько дней в раздробленной правой руке начался воспалительный процесс. Требовалась срочная операция, медлить в партизанских условиях было нельзя.

Здесь же, в лесной землянке, врач ампутировал Алексею Козинцеву руку.

Две недели полуслепой, обескровленный политрук боролся со смертью. Наконец врач, не отходивший от его постели, оживлённо потирая руки, сообщил Александру:

— Опасность миновала. К счастью, вы оказались правы. Ну и организм у вашего брата, позавидовать можно!...

Во второй половине декабря Алексей Козинцев тёмной ночью вышел с группой партизан из лесу. Нужно было перехватить в селе небольшой карательный отряд немцев и уничтожить его. Задание было блестяще выполнено.

С этого момента политрук стал «лесным воином». Он оброс бородой, носил дублёнку и здорово орудовал левой рукой. Глуховский отряд

разросся. Над ним принял командование прославившийся по всей Украине т. Ковпак Сидор Артемьевич, впоследствии дважды Герой Советского Союза. Под его руководством отряд успешно бился с карательной мадьярской дивизией, производил смелые операции в немецком тылу.

Алексей Козинцев ходил в разведку, на ликвидацию изменников, служивших у немцев полицейскими, на уничтожение особенно свирепых немецких комендантов.

Во время одной из ночных операций политрук жестоко простудился. Открылись раны груди, стала болеть культя. Состояние здоровья Алексея ухудшалось. К этому времени у отряда уже была налажена связь с «Большой землёй». Оттуда прилетел самолёт, забрал почти умирающего политрука и отвёз его в Москву.

Алексей так ослаб, что почти не реагировал на перемену обстановки, хотя контраст, конечно, был разительный. Сильные боли, частые операции—удаления оставшихся осколков, переливание крови—всё это притупило воздействие внешнего мира, отодвинуло окружающее в глубь сознания.

Но когда наступил конец, когда боли утихли и Алексей просто лежал в постели, его охватило чувство умиротворения, безмятежности и тихой светлой радости. Он сразу же обратил внимание на необыкновенную чистоту, которую ревниво поддерживали работники санатория. Его трогала ласковая предупредительность и сердечная заботливость медицинского персонала, умение создать полный покой, отдых после всего пережитого им в сумских лесах и на операционном столе...

— Вам ничего не нужно? — обратилась к нему сестра с обычным вопросом.

— Нужно, — серьёзно ответил Алексей, глядя в её нерусское лицо.

— Что же?

— От всего сердца поблагодарить вас всех за ласку, заботу обо мне, совсем чужом вам человеку.

— Вы нам не чужой, — тоже серьёзно и с чуть заметным упрёком возразила сестра и тотчас же улыбнулась:— Можно не объяснять, почему?

— Можно, — радостно ответил Алексей тоже улыбаясь.

— Простите, сестра, — сказал Козинцев, когда она, наклонившись, поправляла ему подушку и три тонких, чёрных, туго заплетённых косички выбились у неё из-под косынки. — Вы какой национальности?

— Узбечка. А что?

— А я украинец. А лечит меня врач — белорус. А приходит к нам убирать санитарка — грузинка. Замечательно! Какая у нас с вами Родина! Жизни отдать не жалко, ведь правда, сестра? — пылко спросил он, поднимая голову с подушки.

— Правда, товарищ политрук! — весело ответила сестра и тут же обернулась к другому раненому, попросившему у неё пить.

«Все мы не чужие, — растроганно думал Алексей, следя за бесшумными заботливыми её движениями около кроватей двух товарищей по палате. — У всех у нас одна семья».

И эта, такая обычная, часто повторяемая фраза звучала для него сейчас особенно веско и значительно.

Второй месяц лежал Алексей Козинцев в санатории, и настроение его начало портиться.

Всё это прекрасно, — думал он, — уют, забота, но... до каких пор это будет продолжаться?

И ему вспоминались прокопчённые землянки, грубоватые, обветренные голоса товарищей, жизнь с гранатой у пояса и с автоматом в руках, партизанская непривередливая еда: то «лесное мясо» — грибы и ягоды, то наваристый украинский борщ такой густоты, что не повернёшь ложкой.

А однажды ночью он увидел во сне то, что осталось от уничтоженного немцами за партизанство хутора Гудка — страшное кладбище, на котором среди пепла и развалин скорбными памятниками высились остовы обгорелых печей. Весь день после этого Алексей хмурился, кусая губы, и на вопросы сестры-узбечки отвечал односложно, нехотя.

— Зажился я тут у вас, — недовольно сказал он врачу, заглянувшему к нему в палату во время обхода, — зажил, доктор, надо и честь знать.

— Что-то мне лицо ваше не нравится нынче, — забеспокоился врач. — Дайте-ка пульс.

Алексей спрятал руку под одеяло.

— Пульс тут ни при чём. Пепел хутора Гудка стучит в моё сердце, — сказал он угрюмо.

Врач из разговоров с Козинцевым знал трагедию хутора и внимательно поглядывал на политрука.

— В леса потянуло? Нет, не пустим. Погостите ещё у нас, отдохните.

— Да уж куда ещё отдыхать, доктор? Спасибо большое и на этом. Как говорится, пора и честь знать. Хочу на работу.

Врач ещё раз внимательно посмотрел на Козинцева.

— Вот именно на работу, — ласково сказал он. — Надо вам подумать о профессии, товарищ политрук.

Алексей удивлённо поднял глаза.

— Что? О какой это ещё профессии вы говорите? Я своей доволен. Она у меня на всё время войны.

— Да как же вы воевать-то будете? — мягко спросил врач, присаживаясь на табурет возле кровати. — Без правой руки, с повреждёнными лёгкими...

— А как же я партизанил? — нетерпеливо перебил Алексей. — Товарищи говорят, что не очень уж плохо справлялся с делом.

— Не сомневаюсь, что блестяще, — улыбнулся врач. — А последствия? То было по горячке, вас подлечили, организм у вас богатырский, но... если бы во-время вас не привезли к нам... Нет, на фронт вам нельзя, об этом и не думайте...

— Это ваше личное мнение, доктор!

— Покажитесь любому врачу, он вам то же самое скажет.

— Ну, это мы ещё посмотрим, — раздраженно проворчал Алексей, сердито отворачиваясь к стене.

Врач улыбнулся, погладил через одеяло его плечо и вышел из палаты.

Алексея смутил этот разговор. А вдруг врач окажется правым? Теперь Козинцев ежедневно приставал к администрации санатория с требованием о выписке. Демонстрируя своё здоровье, он бегал по палате, даже прыгал.

Его выдержали, сколько полагалось, наконец, выписали.

Тотчас же Козинцев явился в военкомат, но медицинская комиссия и ВТЭК определили: инвалид первой группы, нетрудоспособный. За боевые заслуги ему назначили персональную пенсию. Правительство наградило его орденом Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

С заместителем начальника штаба по политической части Алексей Козинцев имел продолжительную беседу.

— Ну что ж, товарищ полковник, — сказал в конце беседы, вставая и вытягиваясь в струнку, бывший младший политрук. — Если уж так пришлось, послужу фронту и Родине в тылу.

В районном отделе социального обеспечения, ознакомившись с документами Козинцева, сказали:

— Вы заслужили право на покой. Мы позаботимся, чтобы вам жилось удобно.

Алексей обиделся.

— Тридцать два года — не такая уж глубокая старость, чтобы мечтать о покое. Вы мне лучше помогите жить так, чтобы не совестно было. В действующей армии я, так сказать, ведал душой бойцов, теперь в армии тыла хотел бы делать приблизительно то же самое. Можете поспособствовать?

— Да вы хоть отдохните после всего пережитого, нетерпеливый какой! — сказали ему.

— Так поможете? — настойчиво спросил Алексей.

— Ну, конечно....

Сейчас Алексей Николаевич Козинцев учится в специальной, особого назначения юридической

школе. По решению Совнаркома РСФСР, он зачислен без предварительных испытаний. Его снабдили учебниками, дали ему репетитора, назначили повышенную стипендию.

Учится он на «отлично», активный член партийного бюро школы.

Всё же сорок ранений не прошли бесследно. По временам болит в боку, мучает кашель, дают о себе знать оставшиеся осколки между восьмым и девятым рёбрами и в ноге.

— Это всё пустяки. Это работе не мешает.

Алексей Николаевич готовит себя к деятельности народного судьи.

— Это приблизительно то же, что я делал среди бойцов на фронте, — говорит он. — Буду воспитывать массы, так сказать, избавлять человечество от пороков старого общества.





5. БАЯНИСТ

В МАЕ 1936 года в Москву приехал знаменитый и очень молодой итальянский дирижёр Вилли Ферреро. Почти его сверстник — девятнадцатилетний слесарь механического завода «Рекордмасс» Ваня Украинцев достал билет на один из его концертов.

Мог ли Ваня сказать, что он любит музыку? Это было больше чем любовь. Музыка была его потребностью, волновала его, и он прислушивался к поднимавшимся из самой глубины его существа чувствам, в которых он не мог разобраться и которые не проявляли себя в его обычной жизни. Музыка сообщала ему состояние душевного равновесия и нужна была, как соль в пище или вода. Если он долго не полу-

чал её, то начинал томиться и садился сам за баян.

Ваня играл хорошо. Как-то после его выступления в Парке культуры и отдыха к нему подошёл известный баянист-виртуоз, спросил его, кто он, сказал о его большой одарённости и взял слово, что он будет серьёзно учиться музыке.

Ваня слово дал, но как-то всё не удосуживался после этого взяться за систематическое ученье. Был он хорошим слесарем-специалистом, превосходно столярничал, отлично починял всё, что ему приносили домашние хозяйки. В своей квартире он был совершенно незаменимым. Если случалась какая-нибудь авария по домашнему хозяйству, говорили: «Ваня сделает», и шли к нему.

Длинные гибкие ванины пальцы быстро справлялись со всяким делом...

На концерт Вилли Ферреро Ваня пошёл один. Он не любит, чтобы ему мешали слушать.

Когда поднялся занавес, Ваня увидел на эстраде очень много людей. Такого большого оркестра ему ещё не случалось видеть.

Бесшумно открылась боковая дверь и быстрыми шагами вошёл высокий молодой человек с рыжими волосами. Он стал за пульт, постучал палочкой. И тогда началось нечто совершенно удивительное — из детской сказки.

Это был маг, чародей, повелитель звуков. Они исполняли малейшее его желание.

Вот он широким жестом пригласил высказаться валторну, и она тотчас же забубнила густым, низким голосом, жалуясь на какую-то несправедливость. Он мягко осел назад, изогнулся и обеими руками поманил к себе из ор-

кестра звуки. Они посыпались к нему со всех сторон, разноголосые, громкие, каждый заявляя о своём, но не мешая друг другу, а сливаясь в мощную симфонию, от которой сладкий холодок пробежал у слушателя по спине. Он протянул палочку вперёд, и сразу стало тихо, скрипки нежно и печально запели о том, что желтеют и падают листья с деревьев, осенние низкие тучи ползут по небу и солнцу не пробиться сквозь них. Оркестр соглашался со скрипками, мерно и глухо поддакивая. А Ферреро стоял, прислонившись боком к пульту, и слушал. Вдруг он встретился, повёл рукою из стороны в сторону, как бы собирая звуки, и потом опять медленно стал распускать их, и звуки полились.

Ваня Украинцев сидел застывший, бледный, руками он крепко держался за подлокотники кресла.

Какую власть можно иметь над звуками! Но если вот так до конца понимать музыку, то ведь с людьми чудеса можно делать! Ваня знал, что даже его нехитрая игра на баяне сообщала слушателям радостное оживление, у иных разгоняла тоску, а подчас, наоборот, вызывала слёзы.

Теперь Ваня твёрдо решил выполнить слово, данное баянисту-виртуозу. С упорством принял он за музыкальную азбуку. Потом поступил на вечерние музыкальные курсы.

На курсах он пробыл немногим больше года, потом подросел призывной возраст, и Ваня Украинцев ушёл служить в Красную Армию. Он был направлен в школу младших командиров.

Здесь Ваня продолжал работу над собою. В свободные от строевых занятий и ученья часы брался за баян.

Ванина игра на баяне вызывала среди бойцов всеобщий восторг и уважение к нему, маленькому и щуплому на вид. Но сам Ваня далеко не был удовлетворён — силы Ферреро управлять звуками он в себе не чувствовал.

Подошли предгрозовые годы 1939—1940-й. К этому времени Украинцев, окончив полковую школу, получил звание старшего сержанта. Его часть перешла польскую границу. Население, почти сплошь белорусское, восторженно встречало Красную Армию. Женщины выходили на дороги с пышными букетами цветов, с фартуками, полными фруктов и овощей. Располагавшихся в деревнях бойцов наперебой закармливали различной крестьянской снедью.

Разместились на некоторое время в большом селе. Стояли погожие, тёплые осенние дни. Ласковая свежесть тихих вечеров наполняла покоем.

В один из таких вечеров Ваня Украинцев сел со своим другом-баяном на скамейку под старой развесистой липой. Сначала он, тихо перебирая клапаны, заставил друга пропеть чудесные раздольные русские песни: «Выхожу один я на дорогу», «Среди долины ровные». Потом с начала до конца, делая лишь небольшие выбросы, исполнил «Евгения Онегина».

Постепенно в небольшом отдалении стал собираться народ, и скоро сошлось всё село. Большая толпа слушала молча, не шевелясь. Высыпали отовсюду и наши бойцы.

Когда Ваня окончил и устало опустил на скамейку рядом с собою баян, раздался оглушительный гром аплодисментов. К нему подошёл по-городскому одетый человек:

Вы большой артист, — взволнованно сказал он, пожимая Ване руку. — Позвольте поблагодарить вас. Я местный учитель. Ничего подобного я не слышал. Благодарю вас от всего сердца...

**
*

Война с немецкими фашистами застала Ваню Украинцева на Карельском перешейке. Часть двинулась на защиту Ленинграда.

Полгода, не отступая ни на шаг, стоял Украинцев вместе со своими товарищами под стенами великого города, обуздывая ярость рвавшегося к нему врага. Стиснутые в плотном вражьем кольце, защитники-воины терпели жестокие лишения.

В эти дни суровых испытаний воли, твёрдости духа и преданности Родине Ваня Украинцев часто вытаскивал друга-баяна. Приладив баян на коленях и слегка склонив голову набок, Ваня полуоткрывал его верхнюю часть, и призывный, сочный, мягкий аккорд наполнял землянку. Тотчас же сходились бойцы, и в просторной землянке становилось тесно от людей и звуков. Тонкими длинными пальцами Ваня перебирал клапаны. И тогда творилось нечто совершенно удивительное.

Ваня закрывал глаза и приказывал звукам: «Согрейте бойцов, накормите бойцов, сделайте радостными их лица!» И звуки весёлой певучей гурьбой налетали на бойцов, врываются в их души, рассыпали в ушах чудесные звоны, переливчатые трели. И бойцы переставали чувствовать холод, уже не сосало у них под ложечкой от голода, разглаживались морщины на лицах.

Ваня сосредоточенно нахмуривал брови и, чуть-чуть растянув баян, просил о самом труд-

ном: пусть каждому будет хорошо и тихо, как дома в родной семье. Ваня открывал глаза и, оглядев всех, счастливо улыбался. Звуки дедали и это трудное дедо...

А потом грозным становилось ванино лицо. Пламенем гнева освещалось оно изнутри. Он давал волю баяну. Раскатами гремели басы. Глухо рокотали над ними тяжкие октавы. Медно ревели невидимые трубы. И чьи-то звенящие молодые голоса, чистые и ясные, взвивались высоко — властно звали они на смертный бой, на последнюю схватку с врагом, отнявшим и мир, и покой...

В январе 1942 года с огромными трудностями пробралось внутрь вражеской петли свежее пополнение славным защитникам Ленинграда. Оно пришло ночью по замечательной трассе, героически проложенной ленинградцами на Большую землю по льду Ладожского озера. Эту трассу называли Дорогой жизни. По ней ночами шли боеприпасы, топливо, продовольствие городу и его защитникам. По ней же между рядами врагов вышла за кольцо блокады истощённая, но не потерявшая до последней минуты мужества и воли к борьбе часть Вани Украинцева.

Бойцы отдохнули, окрепли на Большой земле и снова стали на позиции — уже по эту сторону кольца, чтобы впоследствии взломать его и уничтожить в великой битве за Ленинград. Старшему сержанту Украинцеву дали миномётный взвод.

Часть вела местные бои, беспокоя врага, нанося ему урон. Во время одного из таких боёв немецкая мина, коротко провыв, разорвалась рядом с Ваней Украинцевым. Ослепшего, оглох-

шего и окровавленного санитары отнесли его в медсанбат.

Ваня тихо стонал, когда сестра промывала ему глаза.

— Видите? — спросила сестра, осторожно вытерев ему лицо. Левым глазом Ваня видел всё в тумане, правый был окутан мраком.

Потом началась мучительная операция извлечения осколков. Их оказалось очень много. Операцию делали безболезненно, под местным наркозом, но остро болело в разных местах всё израненное тело. Одна за другой нарастали на нём пухлые повязки.

Ваня почувствовал странную мелкую дрожь во всём теле и, стараясь приподнять забинтованную голову, спросил:

— Что вы делаете, доктор?

— Спокойно, не двигайтесь, — остановил врач.

Ваня впал в забытё. Несколько раз он приходил в себя, но окружающее воспринималось смутно, из какого-то непостижимого далёка. Когда он окончательно пришёл в себя, его мягко покачивало, и внизу слышалось мерное постукивание колёс.

— Где я? — быстро спросил Ваня.

Ваня хотел повернуться, но его точно проколото насквозь большой иглой, и он испуганно застыл. Так пролежал он несколько минут, не шевелясь. Но измученное операцией тело отдыхало, боли притаились, и Ване стало хорошо. Он даже улыбнулся.

— Землячок, не видал, тут баян со мной не принесли? — спросил он дружески соседа. — У кого бы узнать?

— На что тебе теперь баян? — ответил сосед.

— Что? — не сразу понял Ваня.

— Зачем тебе баян, когда обе руки потерял? Не унывай, парень, — мягко добавил сосед, — сам жив остался.

Ваня оцепенел от ужаса. У него перехватило дыхание, и губы судорожно задвигались, хватая воздух. Широко открытый незабинтованный левый глаз смотрел вверх, ничего не видя. И вдруг из него обильно и неудержимо полились слёзы.

Ваня плакал весь день, беспомощно, по-детски всхлипывая. Плакал он и на следующий день. И всё время, пока был в поезде, когда врач или сестра подходили к нему и спрашивали о чём-нибудь, он в ответ разражался тихим конвульсивным плачем...

Прошло много месяцев. В конце апреля 1943 года в дом на Кропоткинской набережной вошёл небольшого роста человек в солдатской шинели. Он остановился у двери квартиры номер три и, хотя в стену был вделан звонок, постучал ногой.

Ему открыла пожилая женщина. Она сразу же узнала его.

— Ваня «Золотые руки»! Наш Ваня вернулся! — радостно воскликнула она и... осеклась, увидев пустые рукава шинели.

— Да, — спокойно ответил Ваня, — были руки. Теперь одной головой попробую прожить, тётя Надя.

И около углов рта у него обозначилась упрямая складка...

О том, что пережил Ваня Украинцев за это время путешествия по госпиталям в глубоком тылу, трудно рассказать. Гордая юношеская

мечта его бесповоротно рушилась. Есть от чего безнадежно пасть духом.

Так и было бы со слабым человеком. Но Ваня обладал тем сильным духом, которому не страшны никакие препятствия.

Он знал изумительную биографию писателя-большевика Николая Островского. Физически раздавленный, этот богатырь-человек призвал на борьбу всю творческую силу своего духа и из этой титанической борьбы вышел победителем. Его произведениями зачитывается советская молодёжь, учится по ним жить и любить свой народ, свою социалистическую Родину. Разве не стоит побороться с судьбой, как бы жестока она ни была!

И Ваня Украинцев решил бороться. Он будет тоже воспитывать советскую молодёжь. Судьба захотела отнять у него жизнь. А он сделает эту жизнь снова полноценной, исполненной творческих радостей. Он поможет формироваться сознанию советского человека, которому предстоят великие дела, и в этом будет его счастье, полное творческое удовлетворение.

В своей жизни Ваня Украинцев привык к коллективу. И теперь коллектив поможет ему ощутить твёрдую почву под ногами. Он не чувствовал одиночества в предстоящем решительном поединке с судьбой.

На последнем этапе лечения — в Омском госпитале — Ваня впервые заговорил о принятом им решении подготовиться к деятельности педагога. Ему предложили остаться в Омске, обещали обеспечить всё, что нужно для непрерывного ученья. Но Ваня решил ехать в Москву. Там он родился, там жили отец и жена брата

(больше в семье никого не было, брат погиб на фронте). Там он думал подвергнуться сложной операции Крукенберга, чтобы облегчить себе действие правой рукой и, главное, получить возможность писать.

Через полгода после приезда Вани в Москву ему сделали в Протезном институте операцию. Он пролежал здесь четыре месяца. Из госпиталя Ваня вышел с двумя большими «пальцами», сделанными из концов локтевой и лучевой кости, и с твёрдой решимостью начать новую жизнь, начать учиться. Общеобразовательная школа для взрослых ещё в госпитале зачислила его заочно своим слушателем, снабдила учебными руководствами, и к нему регулярно приходили преподаватели для подготовки его в один из последних классов.

Оформление своего нового положения — инвалидов Отечественной войны — демобилизованные воины получают в отделе социального обеспечения. Когда Ваня Украинцев явился туда, рассказал о себе и сообщил о своих намерениях, его внимательно выслушали, затем выдали ордера на различные предметы одежды, на дополнительное питание, на дрова.

— Мы не делаем для вас исключения. Мы всё это обязаны сделать для инвалида первой группы, — говорили ему. — Если у вас некому получить всё это, мы пришлём нашего работника. Кстати, как у вас комната, удовлетворительна?

— Сыровата, — без всякой надежды сказал Ваня.

Он мог бы сказать больше: что комната в полуподвальном помещении, что сырость в ней безусловно вредна его здоровью, что света в

ней недостаточно для усидчивых занятий. Но он знал о перенаселённости Москвы.

Через несколько дней на квартиру к Ване Украинцеву явился инспектор социального обеспечения ознакомиться с бытовыми и жилищными условиями. А через несколько недель Ваня получил ордер на новую комнату в хорошем высоком доме на Смоленском бульваре. Комната выглядела весёленькой в два больших окна, была совершенно сухой, тёплой. Она словно приглашала Ваню: «Садись, работай, никто тебе здесь мешать не будет, и всё пойдёт у тебя отлично...»

Инспектор социального обеспечения попросила ванину соседку, пожилую женщину Елену Сергеевну, принять участие в инвалиде Отечественной войны, готовить ему обед.

— Что это вы меня будто уговариваете, — недовольно ответила Елена Сергеевна. — Да я и без вас бы всё равно...

Разговор происходил на кухне. В него вмешалась другая соседка — молодая девушка Антонина Дмитриевна.

— А я что же, недостойна за инвалидом ухаживать? — обиженно сказала она инспектору. — Почему вы со мной не говорите? Впрочем, Елена Сергеевна права — мы и без вас всё равно бы о нём позаботились...

Подошло лето. Ванина тётка, Мария Ефимовна, предложила ему перед занятиями набраться сил — погостить у неё в подмосковном посёлке у станции Водники.

Ваня поехал к тётке, и тут произошло в его жизни крупное событие.

Ване двадцать шесть лет. Он небольшого роста, но строен, подвижен. Отброшенные назад

тёмные, густые, слегка волнистые волосы открывают красивый покаты́й лоб. Шрам от осколка мины на правой стороне лица не лишает выразительности его тонкие черты. Линии губ изящны, строги. Карий глаз под чёткой бровью смотрит пронзительно, немного грустно, но иногда в нём пробегают искорки неподдельного веселья, жизнерадостности. Сердечность и врождённый такт в отношениях с людьми, свойственные Ване Украинцеву, невольно располагают к нему. Может быть, все эти качества, вместе взятые, и расположили к нему сердце девятнадцатилетней девушки Маруси.

Сначала Маруся слегка пугалась ваниных культей и хмурилась, наткнувшись на них взглядом. Потом привыкла. Тёплыми июльскими вечерами, когда Маруся возвращалась домой (она работала токарем в судоремонтных мастерских), они допоздна просиживали на террасе. Ваня рассказывал, а Маруся — весёлая, смешливая девушка — внимательно слушала и иногда незаметно плакала: ей жаль было Ваню и ванину умершую игру на баяне. Тётка и соседка разгоняли их по комнатам. Однажды Марья Ефимовна, женщина решительная, сказала молодым людям:

— Чем так болтать, взяли бы да поженились... Чего смотрите? Я серьёзно говорю.

— Не пойдёт она за меня, калеку, тётя Маня, — грустно сказал Ваня.

— Не возьмёт он меня дурёху, тётя Маня, — в тон ему отозвалась Маруся.

Ваня посмотрел на неё.

— Если вы не шутите, Маруся... — взволнованно начал он и печально закончил: — Кроме

очень большой любви, мне нечего предложить вам, Маруся.

— Но ведь это много!—воскликнула Маруся и зажмурилась.

В августе они поженились. А в сентябре уже встал вопрос, как жить дальше? Он — в Москве, она — в Водниках. Кроме того, кто же о нём будет заботиться?

— Я совсем не ревнивая, — говорила Маруся, — но терпеть не могу, когда за тобой ухаживают чужие девушки.

Ваня приехал в отдел социального обеспечения за ежемесячной пенсией. В разговоре он между прочим упомянул об осложнении в его только что начавшейся семейной жизни. Это сообщение очень серьёзно приняли.

Ваня был тронут таким отношением, но больших надежд не возлагал. Что тут может сделать отдел социального обеспечения? Да и не входит это в его функции—устраивать семейные дела своих клиентов.

Ваня пошёл к директору судоремонтных мастерских и попросил отпустить Марусю с производства. Неловко очень было ему просить об этом. Маруся здорова, детей у них нет... Но Ваня всё-таки решился.

Директор выслушал, подумал.

— Нет, молодой человек, — сказал он сокрушённо. — Сочувствую вам всей душой, но нет официальных оснований освободить вашу жену, а вы знаете положение с кадрами...

Ваня сгорел от стыда и ни с чем ушёл домой.

А в это время в отдел социального обеспечения вызвали одну из самых солидных активисток. Заведующая поговорила обстоятельно

с нею и, вручая отношение со штампом отдела социального обеспечения, прибавила:

— Постарайтесь убедить. Скажите, что к каждому конкретному случаю мы должны подходить индивидуально, а иначе будем не живыми руководителями, а буквоедами.

Но убеждать долго директора не пришлось. Он посмотрел на штамп, на подпись, сказал добродушно:

— Теперь у меня есть официальное основание.

И надписал в левом верхнем углу: «Освободить».

Это, пожалуй, один из самых трогательных примеров заботы отдела социального обеспечения об инвалидах Отечественной войны.

Молодая чета Украинцевых переехала на постоянное жительство в Москву.

Ване не удалось начать вовремя заниматься в школе — два месяца он проболев, а потом много пришлось потрудиться над обучением письму. Двумя большими пальцами клешни Крукенберга писать оказалось очень трудно: не было третьего чтобы зажимать ручку. Тогда Ваня стал класть ручку на левую культю и, прижимая её сверху правой, водить пером по бумаге. Этот способ оказался наиболее удачным: получился упор в край стола. Теперь Ваня пишет так, не утомляясь, два часа, и почерк у него вполне чёткий, пожалуй, только немного детский. Для того чтобы ручка не скользила между культями, Ваня обжигает её лакированную поверхность.

За это время Ваня сильно отстал от своих товарищей по школе. Пришлось догонять.

С ноября 1944 года он стал систематически заниматься.

Сначала было очень трудно. И Ваня втайне был доволен, что сдаёт зачёты хоть на тройку. Он боялся, как бы не было хуже. Но упорная работа над собой сделала своё дело. Среди оценок стали проскальзывать четвёрки. Ваня ощутил спокойную уверенность в себе и дал слово выбиться в ряды «пятёрочников».

Ваня любит эти часы сосредоточенной, углублённой работы. На столе, мягко освещённом спокойным светом затенённой электрической лампы, разложены книги, тетради. В углу сидит Маруся с вязаньем.

Результаты усидчивых, упорных занятий, подкрепляемых консультациями, не замедлили сказаться. Вторая четверть учебного года уже прошла под знаком «хорошо».

Успех окрылил. Преодолевая очередные препятствия, Ваня подчас забывал о сне, об еде, ссорясь из-за этого с Марусей. Зато всё чаще в зачётной книжке стали появляться пятёрки. И даже по такой трудной для Вани науке, как математика.

Впрочем, иногда Ване становится вдруг невозможно сидеть за столом.

— Сквозь фразы ничего не видно, — говорит он Марусе и снимает с вешалки шинель.

— Пойдём, проветримся.

Они отправляются в кино. Часто они ходят в театр, на лекции. Только концерты Ваня ещё не решаетя посещать.

— Не надо желать большего счастья, чем есть, — говорит Ваня.

С большой любовью работает Ваня над «Кратким курсом истории ВКП(б)». Сколько откры-

тий дала ему эта книга! Как расширился его кругозор, какими новыми, осмысленными глазами взглянул он на мир, на человеческое общество! Что знал он раньше? Были отрывочные, разрозненные сведения, почерпнутые из брошюр, кружковых занятий, газет. Теперь перед ним — стройная система основных взглядов, из которых складывается мировоззрение передового человека нашей эпохи.

Работал Ваня над «Кратким курсом» с подлинным увлечением, тщательно конспектируя, возвращаясь к пройденному. Брал консультации, читал первоисточники. Испытания по пройденным главам сдал на пять.

— Золотая голова! — говорят о Ване Украинцеве преподаватели в школе. И это звучит не хуже, чем «Золотые руки».



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	
Любовь и творчество	
Москвич-ленинградец	
Сын Родины	
Партизан	
Баянист	

Центральна Наукова
Бібліотека при ХДУ
Інв. № 3279/6.

